

ПРЕДЫСТОРИЯ

В. Муравьев

Долгая жизнь Джона Рональда Руэла Толкина (1892—1973) закончилась — именно закончилась, а не оборвалась! — полтора десятка лет назад. Она стала преддверием его посмертного существования на земле, конца которому пока не предвидится. Если подыскивать подобие для этой жизни, то больше всего она, пожалуй, похожа на просторный, но вовсе не огромный, просто большой кабинет, он же домашняя библиотека, в старинном, то есть всего-навсего викторианском, доме; справа камин с мраморной доской, кресло у камина, гравюры, резные этажерочки с диковинками — между стеллажами. Много всякого (больше всего книг, хотя их не слишком много), но ничего, как ни странно, лишнего. А хозяин словно сейчас только вышел и вот-вот вернется — вышел не через дверь (через дверь *мы* вошли), а через сияющее и поистине огромное окно в другом конце кабинета. И его жизнь — вовсе не кабинетная, но это потом — представима лишь в ярком и чистом свете.

Выйти-то он, конечно, вышел, от смерти никуда не денешься, но вышел затем, чтобы остаться с нами. И остался, даром что его покамест в кабинете вроде бы и нет; ну как же нет, есть он, и даже без особенной мистики — говорил же завзятый материалист лорд Бертран Рассел: почему мы знаем, вдруг столы за нашей спиной превращаются в кенгуру? Такого нам не надо, обойдемся без австралийских сумчатых, а вот Джон Рональд Руэл, разумеется, присутствует за нашей спиной, и вырастают за нею деревья, без которых он жизни никак не мыслил, они были для него главным житнетвор-

ным началом. И много чего еще до странности знакомого мы обнаружим наяву стараниями Дж. Р.Р. Толкина, невзначай оглянувшись.

Но мы не оглядываемся — успеется; мы медленно обводим глазами оставленную нам на обозрение долгую жизнь. И *очертания* воображаемого кабинета расплываются: в последние годы жизни профессора Толкина его скромная библиотека размещалась в бывшем гаражике, пристроенном к стандартному современному домику на окраине Оксфорда. Пристройка эта, кстати, заодно служила кабинетом, где всемирно известный автор эпопеи «Властелин Колец» принимал посетителей, в том числе и английского литератора Хамфри Карпентера, который впоследствии, в 1977 году, опубликовал его жизнеописание, суший кладезь фактов — черпай не вычерпашь. Будем черпать. Перенесемся от конца жизни к ее началу и представим себе времена почти непредставимые, хоть не такие уж и далекие.

Джон Рональд Руэл Толкин (и Джон, и в особенности Руэл — имена фамильные, до поры до времени, а у друзей всегда он звался просто Рональдом) родился 3 января 1892 года в городе Блумфонтейне, столице южноафриканской Оранжевой Республики, за семью сот с лишним километров к северо-востоку от Кейптауна, посреди ровной, пыльной, голой степи — вельда. Через семь лет разбушевалась взбудоражившая весь мир и открывшая XX век англо-бурская война, повсюду запели «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне», а название жалкого городка замелькало во фронтовых сводках на первых страницах газет. Но пока это была такая глушь... Такая самая, в которую было тогда принято отправлять молодых англичан — чтобы выказывали и доказывали упорство и предприимчивость. Вот и англичанин в третьем поколении Артур Толкин, внук германского иммигранта фортепьянных дел мастера Толькюна, когда семейная фирма вконец разорилась, выхлопотал себе место управляющего банком в Блумфонтейне. Ему хотелось не столько ехать за тридевять земель, сколько жениться на любимой девушке, некоей Мейбл Саффилд, чей отец, опустившись от суконщика до коммивояжера, требовал от жениха жизненных перспектив. В родном Бирмингеме их не было, а в Южной Африке пусть отдаленные, но обозначались. Мейбл отдала скрепя сердце, и Артур увез ее в тридешатое царство, то бишь в Оранжевую Республику, где она родила ему не только вышеупомянутого Рональда, но и младшего его брата Хилари Артура Руэла.

Очень мало осталось в памяти у старшего сына от Южной Африки: ну, тарантул укусил, ну, змеи живут в сарае и туда маленьким ходить нельзя, по забору скачут соседские обезьянки, норовят не то стащить, не то слопать белье, по ночам воют шакалы и рычат львы, отец сажает деревца, а кругом страшный простор безграничного вельда, тяжкий зной и жухлая высокая трава. А больше, пожалуй, и ничего. Нет, качал головой профессор Толкин, больше, кажется, ничего не помню.

В апреле 1895 года мальчики вместе с матерью отплыли в Англию — повидаться с родными и отдохнуть от южноафриканского климата. Отдохнули неплохо и собрались обратно к отцу. Накануне отъезда, 14 февраля 1896 года, под диктовку четырехлетнего Рональда писалось письмо: «Я теперь такой стал большой, и у меня, совсем как у большого, и пальтишко, и помочи... Ты, наверно, даже не узнаешь и меня, и малыша...» Письмо это не было отправлено, потому и сохранилось. В этот день пришла телеграмма о том, что у отца кровоизлияние в мозг — последствие ревматизма. На следующий день — о его смерти.

Плыть в Южную Африку было незачем. Мейбл Толкин осталась в Бирмингеме с двумя малолетками сиротами на руках и почти без средств к существованию: очень немного удалось скопить ее мужу за пять блумфонтейнских лет. Правда, она знала латынь, французский, немецкий, рисовала, играла на фортепьяно — могла, стало быть, давать уроки. И решила как-нибудь сводить концы с концами, главное же — ни от кого не зависеть, ни на кого не рассчитывать, никому не быть обязанной. Впрочем, на бедствующую родню с обеих сторон надеяться и не приходилось. Она задешево сняла коттедж за городом, возле дороги из Бирмингема в Стратфорд-на-Эйвоне. Дети должны расти у реки или озера, среди деревьев и зелени — таково было одно из ее твердых убеждений. Мейбл вообще придерживалась убеждений твердых и вскоре обрела для них прочную основу, обратившись в католичество. (Она овдовела в двадцать пять лет, была очень миловидна и обаятельна, но жить заново не собиралась.) По тогдашним временам в Англии обращение это означало многое, и прежде всего, помимо перемены общепринятых мнений, особый образ жизни, почти демонстративно противопоставленный общему социальному быту.

Мало того, она и детей решила, что называется, «испортить», сильно затруднив им жизнеустройство, и со свойственной ей не-

укошнительностью занялась их религиозным воспитанием. Роль этого материнского решения в судьбе и формировании личности Рональда Толкина трудно переоценить. Волею обстоятельств оно стало необратимым, и Толкин никогда ни на йоту не поступился преподаанными ему в нежном возрасте религиозными принципами. Правда, никакого неофитского рвения у него не было, и в отличие, скажем, от своего старшего современника, новообращенного Г. К. Честертона, он не считал нужным провозглашать свое кредо на всех перекрестках. Зато в другом они очень схожи: оба эти приверженца римско-католического вероисповедания — англичане до мозга костей. Рональд, кстати, и внешне удался в мать (Хилари — в отца) и по-настоящему дома чувствовал себя только в глубокой английской провинции, вустерширской «глубинке».

Мейбл преподавала сыновьям отнюдь не только вероучение и закон божий. По-видимому, у нее был недоужинный педагогический талант, унаследованный старшим сыном: она прекрасно подготовила мальчиков к учебе в самой престижной школе Бирмингема, предъявлявшей очень высокие требования. Именно она приохотила Рональда к любовному изучению языков; именно ей он обязан тем, что в конце концов, победив на конкурсе, обеспечил себе в 1903 году возможность учиться на казенный счет. Не случись этого, совсем другая была бы у него судьба. Потому что Мейбл Толкин умерла в 1904 году.

Детей она препоручила своему духовнику, отцу Френсису Моргану; из него получился заботливый, усердный, надежный и строгий опекун. Остатком сбережений он распорядился как нельзя более умело; свои деньги (а их у него было в обрез) прикладывал не считая. Прожил он, по счастью, еще долго, и его подопечные на всю жизнь сохранили к нему почтительную благодарность. Он, правда, сделал серьезный промах, за который Рональд был ему особенно признателен: подыскав мальчикам в 1908 году пансион (с двоюродной теткой они не ладили), отец Морган не обратил никакого внимания на одну тамошнюю жиличку — девятнадцатилетнюю незаконнорожденную сироту Эдит Брэтт. По роду своих занятий он, видимо, не привык замечать молоденьких и очень хорошеньких девушек, тем более что эта была на три года старше Рональда.

Нельзя сказать, чтобы Рональд был развит не по летам; напротив, ему было в точности шестнадцать. Его филологическая одержимость уже сказала в полной мере, но она была вовсе не угрю-

мая, а веселая и затейливая. К этому времени он хорошо знал латынь и греческий, сносно — французский и немецкий, но подлинным открытием для него стали готский, древнеанглийский и древнеисландский, а затем и финский. Он даже не столько изучал языки, то есть изучал, конечно, но не грамматически, не формально, — он вникал в них и проникался ими, воспринимая не слова и не конструкции, а тексты, по преимуществу поэтические, в их животрепещущей языковой насыщенности. И тексты казались ему нотными записями. Ему не хватало наличной лексики языка — скажем, готского, — и он методом экстраполяции, с помощью чутья и воображения, создавал слова и обороты, которые могли быть, должны были быть. Собственно, и языков ему тоже не хватало, и он начинал изобретать новые, например скрещивая древнеанглийский и уэльский на фоне финского. Изобретались и алфавиты. Можно было предвидеть, что раньше или позже для этих новоизобретенных праязыков понадобится, чтобы закрепить ощущение языкового единства, изобретать тексты, а для текстов — праисторию и прамифологию. И «Беовульф», и «Сага о Вёльсунгах» казались ему — и не зря — отзвуками древнейших эпических преданий. Они не сохранились — ну что ж, значит, надо их...

Мы забегаем вперед. Процесс этот шел, но в школьные годы так далеко еще не продвинулся. Увлеченность Рональда была очень заразна, и он прекрасно умел ею делиться. В школе он основал первое в своей жизни филологическое сообщество, своеобразный «клуб четырех». Впоследствии такого рода клубы при участии Толкина возникали как бы самопроизвольно, но никогда и ни с кем у него не было более тесных дружеских отношений, чем с этими тремя однокашниками. Тут стоит заметить, что щупловатый Рональд вовсе не был ни тихоней, ни заморышем. Нет, это был общительный и веселый, чтоб не сказать — проказливый, подросток, отчасти даже спортсмен — регбист, игрок школьной команды.

Словом, в общем счете Рональду было примерно шестнадцать; а вот очаровательная резвушка Эдит Брэтт, для которой потом будет придумано имя Лучизнь и легенда на придачу и которая пока что, в пансионе, снимала комнатку этажом ниже, — та, по-видимому, была моложе своих девятнадцати. Из комнатки доносилось пение и стрекот швейной машинки; вообще-то она окончила музыкальную школу и собиралась стать учительницей музыки, а вдруг да и пианисткой. Своего пианино у нее не было, а на том, что стояло

в гостинной, хозяйка пансиона охотно разрешала играть для гостей, упражняться на нем не дозволялось. Вот она и шила — не сидеть же без дела! Тем более что с музыкальной карьерой было не к спеху: от матери осталось кой-какое наследство (земельный участок), и на прожитие худо-бедно хватало. Но жилось ей довольно одиноко, и с Рональдом они сразу подружились — у них обоих был талант человеческого общения. Они заключили наступательно-оборонительный союз против хозяйки пансиона. Они закупали лакомства на сэкономленные гроши и (втроем с Хилари) устраивали тайные пирושки. Они (вдвоем с Рональдом) гуляли, проказничали, катались на велосипедах. Скорее всего эта дружба с естественным оттенком полувлюбленности и двумя-тремя робкими поцелуями осталась бы светлым промельком, чистым воспоминанием юной поры. У них не было главного — не было общности интересов, а упоенный интерес Рональда к слову уже стал средоточием его жизни. Но тут вмешался опекун.

Вначале недооценив опасности девического соседства, отец Морган затем ее переоценил. Он привык выслушивать исповеди и видеть изнанку отношений полов — то, что настоятельно требует покаяния. Рональду каяться пока было явно не в чем (а то бы он, кстати, покаялся), но когда отец Морган стороной случайно узнал об одной велосипедной прогулке своего подопечного, он сопоставил факты, встревожился и принял меры. Он немедленно переселил мальчиков от греха подальше и запретил Рональду всякие встречи и всякую переписку с Эдит. Не от черствости и не из ханжества: он объяснил ему, что до двадцати одного года за его будущее в ответе опекун, а будущее его решается в ближайшие два года. Ему прямая дорога в Оксфорд, но платить за обучение им и вместе с опекуном не по карману. Есть лишь один выход: блестяще сдать вступительные экзамены и получить именную стипендию. Таковая присуждается только до девятнадцати лет; в январе 1911 года будет уже поздно, и придется избирать иное жизненное поприще. Между тем нежные отношения со взрослыми девицами учебе нимало не способствуют.

Не способствует ей и насильственное разлучение с подружкой, которая оттого становится втрое дороже; горечь и тоска тоже не способствуют. Однако прав был и отец Морган: Рональд действительно подзапустил занятия, и первая его попытка поступить в Оксфорд успехом не увенчалась. Впору было впасть в уныние, опу-

стить руки и заодно уж взбунтоваться против опекуна. Все это, однако, было не в натуре Рональда. Он, напротив, засел за книги, но и от регби не отлынивал, а уж в «клубе четырех» развернулся вовсю. И в декабре 1910-го все-таки стал оксфордским стипендиатом.

В Оксфорде ему повезло с наставниками: тщательно выявив характер его способностей и устремлений, в нем угадали будущего крупного ученого-педагога и перевели с классического отделения, куда он поступил, на недавно созданное отделение истории английского языка и литературы — со специализацией по языку, разумеется. Впрочем, как уже говорилось, язык был для него функцией текста, и текста поэтического. (Хроника тоже воспринималась как поэтический текст.) Он начал писать стихи, сперва как бы переводы с древнеанглийского, потом — все больше и больше отдаляясь от подлинника, сам толком не зная куда. Со школьными друзьями из «клуба четырех» он поддерживал близкие отношения (хотя завелись и новые друзья) и, конечно, читал им создания своей лингвистической музыки. Один из них спросил его: «Слушай, Рональд, а о чем это?» И Рональд задумчиво ответил: «Еще не знаю. Надо выяснить». Шел 1914 год.

Все ли переменялось после 4 августа, дня вступления Англии в войну? Для Толкина — почти ничего: те же аудитории, те же преподаватели, такие же лекции. Сверстников, правда, сильно поубавилось — в ответ на призыв лорда Китченера многие тысячи студентов ушли на фронт рядовыми. Толкин этого не сделал; вместе с двумя друзьями из школьного клуба он записался в полк Ланкаширских стрелков (третий друг ушел на флот), и к академическим занятиям прибавились военные учения. Стихов он писал все больше, и в них стали все отчетливее вырисовываться очертания сказочно-мифологической страны Валинор, озаренной не солнцем и не луной, а сиянием двух деревьев. Живут там, кажется... эльфы, и язык у них... эльфийский. Он перепечатал стихотворения (их набралось десятка три) и предложил их лондонскому издательству католической ориентации. Стихи были отвергнуты с холодным неодобованием: хорошенькие развлечения у молодого католика в годину бедствий! И что это еще за Валинор? Чуть ли не язычеством пахнет...

Их отношения с Эдит возобновились еще в 1913 году; в тот самый день, как ему исполнился двадцать один год, Рональд сделал ей письменное предложение. Оказалось, правда, что она тем временем

обручилась с другим, но это недоразумение было улажено, и она согласилась ждать дальше — уже в качестве невесты перед богом. Этот заключенный на небесах брак был освящен на земле 22 марта 1916 года, с благословения отца Моргана. А 4 июня Ланкаширских стрелков отправили во Францию: готовилось грандиозное наступление на реке Сомме. Младшему офицеру связи Дж. Р.Р. Толкину предстояло в нем участвовать.

Началось оно 1 июля, и в этот день на пятнадцатимильном участке фронта легли мертвыми шестьдесят тысяч англичан; таких потерь британская армия еще не знала. В гряде гниющих трупов остался один из «клуба четырех». Батальон Толкина бросили в огонь 14 июля; Джон Рональд Руэл оказался среди уцелевших. И вышел невредимым из дальнейших, столь же бесплодных атак — июльских, августовских, сентябрьских, октябрьских. Чудес храбрости он не совершал — да в этой мясорубке и не было места чудесам, — он просто шел или полз под огнем по грязи и по мертвым телам бок о бок с другими, и солдаты считали его своим, и это наверняка было для него главное. Много лет спустя он писал об одном из героев эпопеи «Властелин Колец»: «Мой Сэм Скромби целиком срисован с тех рядовых войны 14-го года, моих сотоварищей, до которых мне по человеческому счету было куда как далеко».

Без малого четыре месяца на передовой в разгар самой кровопролитной из тогдашних бесславных битв, а потом — сыпной тиф, повальное окопное заболевание. И в такой острой форме, с такими осложнениями, что почти два года пришлось скитаться по госпиталям; на фронт он больше не попал. В декабре 1916-го получил он письмо от школьного друга из «клуба четырех», убитого через несколько дней: «...дай тебе Бог сказать все и за меня тоже, хоть когда-нибудь, когда меня уже давно не будет на свете...»

Тут, собственно, конец биографической предыстории и начало семейной жизни и академической карьеры профессора Толкина — это с одной стороны, а с другой — тогда-то, на больничной койке, он наконец понял, что он пишет и что ему надо писать помимо ученых исследований и наряду с ними. Оказывается, надо глубже и глубже, не жалея трудов, вчитываться в саги и хроники, эпические песни и предания, в сказки и легенды и различать за ними, да не за ними, а в них, между строк, облик некоего связующего сказочно-мифологического целого и затем, с помощью чутья и воображения, воссоздавать его нынешними словами. Он пишет «Книгу утрачен-

ных сказаний». Для того чтобы — «не смейтесь, пожалуйста!» (это он в письме) — «можно было ее просто посвятить Англии, моей стране».

Вот и видно, что не писатель Толкин — в том смысле, с каким мы привыкли связывать писательство. Визионер какой-то, выдумщик. К двадцати восьми годам жизнь дает ему столько материала! Можно о детстве, о раннем сиротстве, что-нибудь в жанре «Дэвида Копперфилда». Можно школьный роман, религиозно-проблемный, университетский, можно вполне содержательную любовную историю. А военный опыт чего стоит! Взять хоть ровесника его, Р. Олдингтона, модного в 20—30-е годы представителя английского «потерянного поколения». Тот на передовой провел гораздо меньше, но не простил этого своей родине и в романе «Смерть героя» излил законное негодование против Англии, заключив прочувствованный монолог словами: «Да поразит тебя сифилис, старая сука!»

Так что очень нетипичен и совсем не ко времени был стыдливо-патриотический замысел Толкина слить «в одно широкое и ясное лазерье» видение мира, присущее англосаксонскому, кельтскому, исландскому, норвежскому, финскому эпосам. Когда-то он писал о «Калевале»: «Хотел бы я, чтобы у нас в Англии было что-нибудь в этом роде». Теперь он вознамерился создать «что-нибудь в этом роде» в крайне неблагоприятной общественной атмосфере — и если не вопреки своему жизненному опыту, то почти вне связи с ним. Но без сопряжения с жизненным опытом, с современностью могло получиться только то, что и получалось, — псевдоэпос, стилизация, имитация. Другое дело, что сам по себе опыт еще не подсказка; надо найти способ его использования, приобщения к замыслу, пусть и самому фантастическому.

И замысел этот добрых два десятилетия срастался с его профессией, душой, воображением и даже просто бытом. Срастался — и, разумеется, преображался. Он стал называться «Сильмариллион» — потому что сердцевиной его сюжета сделалась история трех украденных из рая земного, страны Валинор, волшебных бриллиантов, Сильмариллов. Валинор же стал обителью божеств, или, если угодно, архангелов-демиургов, соучастников творения мира, Средиземья. Кроме того, Валинор — обетованный край для первородных существ Средиземья, бессмертных эльфов. Там бессмертье им не в тягость, а в Средиземье оно их постепенно изнуряет, становясь дурной циклической бесконечностью аналогичных происшествий.

Поэтому людям, сотворенным вслед за эльфами в том же облике, смерть дарована в виде особой милости, как таинственный залог иного, высшего назначения, высшего, нежели даже блаженство.

Однако не будем вдаваться в тонкости; кое-что из этого нелишне знать читателю «Властелина Колец», но поскольку «Сильмариллион» — самостоятельное произведение, постольку мы его оставим в стороне. Так, в стороне останется почти вся его первая часть, мифы творения, над которыми Толкин трудился едва ли не больше всего и которые в окончательной, посмертной редакции «Сильмариллиона» выглядят все-таки довольно убого. Достаточно знать, что это — попытка образного осмысления и, так сказать, сюжетной интерпретации первой главы библейской Книги Бытия; тут нет ничего удивительного, потому что Средиземье в начальном и конечном счете — наш мир. Отметим лишь, что толкиновское осмысление гораздо более ортодоксально, чем это может показаться на первый взгляд.

Зато не мешает знать, откуда взялись в Средиземье гномы, а также орки, драконы, тролли и прочая нечисть, не говоря уже о самом Властелине Колец. Гномы — плод самодеятельности одного из демиургов, мастеровитого и нетерпеливого: он никак не мог дожидаться, когда же наконец вседержителю благоугодно будет кого-нибудь сотворить. Будучи как бы телепатически в общих чертах знаком с вышним замыслом, демиург сотворил существа кряжистые и упорные, хорошо приспособленные к борьбе со злом (изначально опоганившим Средиземье), но несколько аляповатые. Он не сообразил, что даровать им свободу воли не в его власти, и так бы и остались гномы големами, если бы вседержитель не смиростивился и не разрешил гномов — с тем только, что они покамест будут почивать в горных недрах, а выйдут на свет божий в свой черед. Поэтому в Средиземье и бытует легенда, будто гномы сами собой произошли из камня.

Зло в Средиземье, как сказано, присутствует изначально: прародитель его, сперва самый могущественный из демиургов, звался Мелкор. Он тоже был соучастником замысла творения, но, движимый гордыней, своеволием и своекорыстием, сделался его извратителем, самозванным князем мира сего. Он-то и развел на земле нежить и нечисть, и одним из самых мерзостных его деяний было выведение орков, ибо это — порченные мукой и чародейством эльфы. Самовластие не терпит сопротивления, достоинства и независимости, оно ненасытно, оно стремится быть вездесущим — и Мел-

кор от начала веков и дней Средиземья всеми силами возвеличился путем разрушения, подавления, осквернения. Он — злой дух истории. Его главный подручный, Саурон, — из числа младших демиургов — особенно искусен по части лжи и коварства. Пока не пришел его срок, он был тенью Мелкора, потом стал его местоблюстителем.

Когда Средиземье еще пребывало во тьме, Валинор озаряло сияние двух деревьев; туда переселились благороднейшие из эльфов, и главный их искусник, Феанор, изготовил и огранил три несравненных бриллианта — Сильмарилла; оживленные его мастерством, они впитали свет деревьев и лучились ярче звезд.

Мелкора они томили нестерпимым вождельем: он с того и начал, что возжаждал Света, но для одного себя, и до времени затаился во тьме, ведь похитить деревья было нельзя. Но вот открылся путь к прежде недостижимому — погасить Свет и оставить его себе. И путь этот открыл Феанор, ибо Сильмариллы созданы были не во славу Света: мастер возлюбил дело рук своих, рукотворное сокровище, паче нерукотворного. Да и волшебство всегда связано с заклятием, а заклятие — с проклятием. Такие и тому подобные азбучно-мифологические прописи, так сказать заповедные мифологемы, образуют подоплеку сюжетной игры «Сильмариллиона», задуманного как нечто вроде «Суммы мифологии». Пока и поскольку это так, «Сильмариллион» немногим более чем лакомое блюдо для своего брата специалиста, способного углядеть намеки и отсылки, оценить сопряжения и соответствия, то есть прочесть его при свете «Калевалы» и «Старшей Эдды». И все же... и все же есть здесь и свой нравственный заряд, и самостоятельное сюжетное напряжение, да и игровое начало не сводится к академическим забавам. Не нужно, правда, забывать, что мы говорим о «Книге утраченных сказаний» в ее окончательном виде, то есть о некоем синтезе попыток написать ее. А теперь вернемся к лихолодейскому умыслу Мелкора.

Первым делом он нашел себе сообщницу — исчадие мрака и пустоты, именуемое Унголиант и принявшее облик громадной паучьей самки. Во время праздника прокрались они к светоносным деревьям, и Мелкор пронзил их черным копьём, а Унголиант высосала животворное сиянье. Сильмариллы были ревниво укрыты от чужих глаз во дворце Феанора; тем легче было Мелкору их похитить.

В наступившей вселенской тьме он перенесся на север Средиземья, воздвиг там неприступную и неоглядную крепость Тонгордрим